

III. Разделение, порядок изложения идеологической науки.

— Какой порядок всего целесообразнее для изложения нашей науки?

— Исторический. Дело идет об явлениях жизненных, развивающихся; их следует изучать в их развитии.

— Как подразделить процесс идеологического развития?

— Наблюдения позволяют различать в нем несколько периодов, из которых каждый характеризуется особым типом господствующих идеологий, — особым типом „культуры“. Таких периодов пока можно наметить четыре:

I. Эпоха первобытных культур.

II. Эпоха культур авторитарных.

III. Эпоха культур индивидуалистических.

IV. Эпоха культуры колlettivистической.

Наше время характеризуется в передовых странах наибольшим расцветом индивидуалистических культур, начинающимся уже их упадком, зарождением, наряду с ними и в борьбе с ними, культуры колlettivистической.

— Чем характеризуются культуры первобытные?

— Разные формы идеологии — речь, познание, искусство, обычай — зарождаются и растут, но остаются в несвязном, неоформленном виде; они не складываются в системы, не имеют объединяющих принципов; по сравнению с идеологиями следующих стадий они чрезвычайно бедны и неопределенны.

— Какой ступени развития производства они соответствуют?

— Так называемому „первобытному коммунизму“.

— Каковы отличительные черты культур авторитарных?

— Идеологии складываются в системы с определенным строением; их объединяющий принцип — „авторитарный“. Все общественное сознание проникнуто точкой зрения „авторитета“, всюду вносящей сопоставление власти-подчинения или высшего-низшего. Так, миропонимания тогда принимают „религиозную“ форму, в которой все вещи и явления рассматриваются, как подчиненные высшему,ластному божественному началу; нравственные нормы считаются велениями божества, и т. под.

— Каким стадиям организации производства соответствуют авторитарные культуры?

— Также авторитарным: патриархально-родовой, и затем феодальной организации, которые построены на обособлении организаторов и исполнителей, на власти первых и подчинении вторых.

— Чем определяются индивидуалистические культуры?

— Их объединяющий принцип есть „индивидуализм“, т.-е. понятие о человеческой личности, обособленной, противополагающейся другим людям и всему миру, как самостоятельный центр интересов, стремлений, мышления. Индивидуальное хозяйство принимается за независимую экономическую единицу; индивидуум рассматривается, как первый деятель истории, познания, искусства; индивидуальная свобода и ответственность,—как основа права и нравственности, и т. д.

— С какими производственными системами связаны индивидуалистические культуры?

— С товарно-меновой организацией и специально с капитализмом торговым, а затем промышленным.

— Чем характеризуется колLECTИВИСТИЧЕСКАЯ культура?

— Она вся проникнута идеей трудового коллектива, в виде ли определенного класса, или в виде це-

лостного, не-классового общества. Сотрудничество здесь принимается как хозяйственная связь общества; коллектизы, классовые или иные, — как первичные деятели истории, познания, искусства; развитие стройности и силы коллективов — как сущность человеческого прогресса, и т. под.

— На каких ступенях развития производства выступает колlettivizm?

— Этот новый тип идеологии зарождается при капитализме, в эпоху машинного производства, но, находясь в противоречии с индивидуалистической культурой, не может в рамках капитализма достигнуть господства, а развивается только как тип классовой, именно — proletарский. Получить преобладание он должен лишь при социалистической системе производства.

— Возможно ли вообще установить точные границы между культурными периодами?

— Нет, невозможно, как и между экономическими формациями, и даже еще больше, чем там. Идеологии старых типов сохраняются весьма долго, как пережитки, при господстве новых; и одновременно с этим обычно растут еще новейшие, на смену тем и другим. То, что перемешано таким образом в жизни, исследование должно разделять при помощи абстрактного метода, выясняя основные тенденции самых типов, и направление, в котором исторически изменяются соотношения между ними. Этим путем можно и разобраться в кажущемся хаосе идеологических явлений, и даже достигнуть, по крайней мере в общих и основных чертах, их предвидения.

— Является ли принятое нами разделение идеологических периодов наиболее обычным в науке?

— Нет. Гораздо обычнее другое. Идеологию берут вместе с материальной культурой, и делают историю на перIODЫ по уровню развития той и другой: „период

дикости“, „период варварства“, „период цивилизации“, с их более мелкими дальнейшими подразделениями. Эта классификация для нас не годится по двум причинам. Во-1), ее понятия крайне неопределенны: под „дикостью“ подразумевается большей частью какая-то особенно низкая ступень культуры, под варварством—какая-то средняя; но все признаки их имеют колеблющийся, расплывчатый характер. Во-2), и это главное,—такая классификация не затрагивает самого строения идеологии; а оно особенно важно. Выделить, напр., пережитки старой культуры среди новых форм с этой точки зрения не удалось бы, потому что пережитки далеко не всегда носят заметные черты „дикости“, или „варварства“, или „низшей цивилизации“.

Существуют еще классификации гораздо более близкие к нашей; напр., принятое „позитивистами“ разделение трех фаз мышления—„теологической“, „метафизической“ и „научной“ или „позитивной“; или намеченное у Луи Блана разграничение принципов „авторитета“, „индивидуализма“, „братства“. Но и эти формулы научно недостаточны и неточны, потому что берут идеологические факты „отвлеченно“, вне их связи с другими сторонами общественного процесса, вне зависимости от них; эти классификации не основаны на социальной причинности.

— Какого порядка следует держаться в изучении каждого идеологического периода?

— Связь социальной причинности указывает на такой порядок: сначала определить технические и экономические условия жизни общества в данную эпоху, затем изучить идеологические формы, как их выражение и в то же время как организующие их приспособления.

— Но если идеологическая наука занимается вопросами техники и экономики, то

не захватывает ли она этим области других наук, не смешивается ли с ними?

— Ни одна наука не может вырвать своего объекта из общей мировой связи, и каждая поэтому вынуждена время от времени иметь дело с разными не принадлежащими ей, но сопредельными явлениями; она только берет их со своей специальной точки зрения, в пределах своей особенной задачи. Так и наша наука должна часто касаться экономических и технических явлений; но они интересуют ее не во всем своем объеме и не сами по себе, а лишь постольку, поскольку необходимы для объяснения процессов идеологических, поскольку представляют причины их изменений, их развития.

Период первобытных идеологий.

— Существуют ли теперь общества, идеология которых находилась бы вполне на первобытной ступени?

— Нет; или, по крайней мере, этого нельзя утверждать с уверенностью. Существуют, без сомнения, весьма низко стоящие дикие племена; но не следует забывать, что каждое из них, как бы ни отставало оно в своем развитии, все-таки имеет за собой историю, столь же продолжительную по времени, как и остальное человечество.

— По каким же наблюдениям возможно изучать первобытные идеологии?

— Недостаточные и неточные данные прямого наблюдения, а также, конечно, истории прошлого, должны быть восполнены при помощи абстрактного метода. Для этого надо сопоставлять известные нам формы низших ступеней идеологии, располагая их в нисходящий ряд, и таким образом выяснить, как изменяются идеологии, по мере того, как исследование приближается к их первобытным фазам. Продолжив эту нисходящую тенденцию насколько возможно дальше, мы получим научное понятие о первобытных идеологиях.

— Можно ли считать безошибочным такой „абстрактный“ способ исследования недоступного прошлого?

— Самый метод, при строгом и точном его применении, можно считать безошибочным; но это не всегда будет верно относительно результатов его применения. Те данные, с которыми он имеет дело, могут быть слишком неполны или недостаточны, а иногда — и неправильно поняты. Делалась, напр., не раз такая ошибка. Племена, которые раньше обладали более высокой культурой, а затем, попавши в неблагоприятные условия, деградировали, рассматриваются как наиболее близкие к первобытному состоянию. В их идеологии сохраняются пережитки более высокой стадии развития; а в этих пережитках думают видеть наиболее первобытные черты.— Так, цейлонское лесное племя „веддахи“ часто бралось как пример наиболее примитивных форм идеологии; но филологи нашли, что язык этого племени принадлежит к семье индо-европейских, или арийских, той же, к которой принадлежат санскритский, древне-иранский, греческий, латинский, славянские, германские. Между тем доказано, что, когда арийцы пришли в Индию, они обладали уже довольно высокой культурой. Значит, веддахи — либо их выродившаяся ветвь, либо когда-нибудь жили в такой тесной связи с ними, что заимствовали их язык; в обоих случаях веддахи должны были в известную эпоху стоять на более высоком уровне развития, чем теперь.— Аналогичным образом есть основания полагать, что многие из низко стоящих теперь полярных племен стали таковы в силу деградации: их предки жили в более теплом климате, среди более богатой природы и, попавши в обстановку полярных стран, сделались жертвой тамошних, непомерно тяжелых условий борьбы за жизнь.

В виду трудностей исследования оно должно, во-1), брать за основу как можно более широкий материал, чем уменьшаются шансы ошибок, во-2), подвергать его тщательной и разносторонней критике, в 3), ограничиваться пока лишь наиболее общими выводами, которые, конечно, в то же время и наиболее важны.

— Как далеко в глубину прошлого может итти абстрактно-индуктивный метод?

— Вплоть до самого зарождения идеологии.

— Но допустимо ли для нашей науки ставить вопрос о первом возникновении идеологий, раз мы не знаем во всей истории человека без духовной культуры?

— К неизбежности вопроса о самом происхождении первых идеологий приводит тот же абстрактный метод. Если мы сравним самые различные ступени культуры, расположив их опять в нисходящий ряд, то увидим вот что. Современное культурное общество чрезвычайно богато идеологическими формами. Громадная масса элементов речи,— познания, обыденного и научного, искусства, проявлений нравственности, права,— заполняют значительную часть общественного процесса, которая остается значительной даже если сравнивать ее с колоссальным развитием технической и экономической стороны жизни. Но чем ниже мы спускаемся по лестнице культуры, тем больше отношение меняется: идеологическая часть общественного процесса не только суживается, но при том быстрее, чем техническая и экономическая, так что занимает в нем относительно все меньшее место. На первый план все более выступает непосредственная борьба человека с природою; люди все меньше обсуждают, столковываются, обдумывают, оценивают, все больше действуют стихийно. Продолжим эту тенденцию до ее мыслимого конца, и мы придем к такой ступени, где вовсе нет идеологий, где труд еще не осложнен речью, понятиями, идеями, нормами и т. под. Дойдя же до этого, хотя бы только мысленно доступного нам предела, мы не можем не поставить вопроса, откуда и как первоначально возникла идеология.

I. Начало идеологии.

a) Техническая и экономическая характеристика эпохи.

— Как следует представлять технику эпохи первого зарождения идеологии?

— Две черты существенны для нас в этой технике: во-1), ее величайшая, „пределная“ слабость и, во-2), зародышевое состояние орудий.

Ее слабость такова, что ценою всех своих усилий люди едва могут поддерживать свое существование, почти постоянно находясь на пределе, за которым угрожает гибель. Тут совершенно отсутствует „прибавочный труд“, т.-е. какой бы то ни было излишек трудовой энергии над тем, что абсолютно необходимо для поддержания жизни.

Орудия уже существуют; где их еще нет, там не может быть речи о человеке: употребление орудий есть именно то, что выделило человека из царства животных. Но это еще только те орудия, которые, так сказать, непосредственно даются природою: камень, который достаточно поднять с земли, палка, которую легко выломать в лесу. Орудия служат продолжением и дополнением органов тела; в эту эпоху роль их в борьбе за существование сравнительно очень мала, над нею далеко преобладает непосредственное применение органов самого тела. В техническом процессе еще весьма мало места занимают действия вещей на вещи (орудий на материалы), несравненно больше прямые действия человека на вещи.

— Чем характеризуется экономика эпохи?

— Система сотрудничества является в виде родовой группы, узкой по объему—не более нескольких десятков человек,—тесно спаянной и кровной связью происхождения, и суровыми условиями борьбы за жизнь. Самое

сотрудничество отличается однородностью и неорганизованностью. Первая заключается в том, что нет разделения труда, если не считать тех его зародышей, которые зависят всецело от физиологических различий мускульной силы, смотря по полу и возрасту (напр., дети собирают плоды и коренья, но не участвуют в охоте, и т. под.). В общем, труд так элементарен, что каждый умеет делать все то же, что и другие родичи. Неорганизованность определяется тем, что в случае одновременных совместных действий (напр., борьба с большим хищником, война с другой группой, коллективное перетаскивание больших тяжестей) нет ни специального распорядителя, который организовал бы все дело, ни предварительного общего обсуждения и решения, определяющего порядок и связь труда участников. Усилия людей объединяются, когда это необходимо, непосредственным и стихийным образом, без идеологической планомерности, на основе просто общей цели, всем очевидной и всех одинаково интересующей, а также подражания.

Полное отсутствие того, что можно было бы назвать „собственностью“ дало повод обозначать самый строй как „первобытный коммунизм“.

b) *Происхождение слова.*

— Откуда произошла человеческая речь?

— Из трудовых криков. Когда человек выполняет какое-нибудь усилие, это усилие отражается на его дыхательном и голосовом аппарате, и у него непроизвольно вырываются определенные звуки. Так, когда дровосек силою ударяет топором, этот звук бывает „ха“; когда бурлаки на Волге сразу вместе натягивали канат — глухой крик „ухх“; у европейских рабочих при поднятии тяжестей — „хорр“ или „хоп-ла“; у матросов при повороте кабестана с якорной цепью — „хо-хой“; у мостовщиков в Тунисе при опускании тяжелой „бабы“ на камни — крик „ай-а“, и т. под. Если мы и не видим работников, но слышим подобные

„трудовые междометия“, то мы знаем, что работники дѣлают; это—вполне понятные для нас знаки трудовых актов, хотя это нельзя назвать настоящими „словесными обозначениями“; от слов они отличаются своим непроизвольным, стихийным характером.

Такого же рода явления существовали, конечно, и в первобытную эпоху, и даже еще в большей мере, в силу большей непосредственности, импульсивности примитивной психики.—Живой организм—одно неразрывное целое; и потому всякое трудовое усилие находит отзвук, только в разной мере, в самых различных частях нервно-мускульного аппарата; возбуждение одних центров мозга неизбежно отчасти распространяется на другие (в физиологии это называется „нервной иррадиацией“). Следовательно, в трудовом акте, кроме его произвольной, сознательно-целесообразной стороны или части, есть еще непроизвольная; к ней относится трудовой крик.

Этот звук был, очевидно, в каждом случае одинаковый у всех членов родовой группы: их организмы были чрезвычайно сходны и в силу тесного родства, и в силу совместной жизни среди одной природной обстановки. Естественно, что он сам собою стал обозначением — для всех понятным—того трудового действия, к которому относился. Так образовались первобытные слова или „первичные корни“. Их было, конечно, очень немного, самое большое несколько десятков. Но в дальнейшем они изменялись, развивались, усложнялись; их непроизвольно-стихийный характер сменился все более сознательным. Этим путем из них произошло, в конце-концов, все колоссальное богатство позднейших языков. Как видим, первая и основная идеология—речь—возникла из общего труда людей, из производства.

— Мыслимая ли вещь, чтобы из нескольких десятков простых криков получилась современная речь, с ее сотнями тысяч разнообразных слов и бесконечностью их сочетаний?

— Да. Филология уже давно показала, что все множество и разнообразие современных языков сводится к немногим их семьям, и в начале каждой из них лежит один, древнейший, обыкновенно уже исчезнувший язык; а затем при его посредстве все их слова сводятся к немногим общим корням. Каждый из этих корней и его значение в ряду веков подвергается непрерывным и медленным, но бесчисленным и постепенно накапливающимся видоизменениям, „вариациям“, которые расходятся по различнейшим направлениям, как ветви и листья дерева от одного ствола. Вот один типичный пример.

В семье индо-европейских языков есть древний корень „*m a g d*“, первоначально означавший действие растирания руками, размельчения чего-нибудь, отсюда также—разбивания, дробления и т. под. В исторической шлифовке этот корень сокращался, смягчался, принимая формы „*m a g*“, „*m a l*“; его звуки переходили в другие по известным, выясненным наукой законам „фонетики“ (учения о звуках речи). Заметим, что гласные звуки изменяются чрезвычайно легко, и потому характерными в корнях считаются только согласные, для которых законы превращений гораздо строже.

В русском языке значение корня почти вполне сохранилось в словах молоть, размалывать, мельница, а также мелкий, малый (то, что является в результате размельчения). Есть это значение и в немецком: *Mehl* (мука), *Mühle* (мельница), *Malz* (солод). От растирания получается нечто мягкое; так возникло греческое *μαλαχός* латинское *mollis* мягкий. В немецком подобный смысл имеет *Schmalz* сало—(то, что размягчается), *Schmeißen*—таять. Тут корень, как говорится, „усилен“ звуком *s* или *sh* спереди; это—вещь обычная в фонетике.

С тем же значением размельченности-мягкости связано готское *mufda* (мягкая земля), и затем в немецком, с утратой начального *m*, слово *Erde*—земля. Но, как это ни

странны, отсюда же и М e e г, русское м о р е, французское т е г, латинское т а r e,

То, что растерто, может мазаться, пачкать. Отсюда немецкое schmieren—натирать, мазать, и Schmutz—грязь; русское „смола“. От идеи пачканья переход к идеи черного цвета, немецкое schwartz, русское „смоль“ („черный, как смоль“), греческое μέλας—черный. По-немецки malen—рисовать, (т.-е. мазать красками); слово Mal означает „раз“, т.-е., собственно, пятно, знак, которым отмечается каждый „раз“ (по-русски это слово „раз“ от глагола „разить“, и означает, в сущности, удар).

Более грубый оттенок корня *mard*, а именно разбивать, выступает в русском „молот“, „молотить“; затем в латинском mordeo—кусаю (и по-русски „морда“—то, чем кусают звери). Сюда же относятся слова, выражющие разрушение: наше „смерть“, немецкое Mord—убийство, латинское mori—умирать и morbus—болезнь, французское mort—смерть, и так далее.

Все это не образует на деле и тысячной доли развлечений одного корня, выражавшего первоначально определенное трудовое действие людей.

— Каким путем наука приходит к выводу, что первичными корнями речи были трудовые крики?

— Это—одно из самых удачных применений абстрактного метода и основанной на нем дедукции. Вот его сущность.

Если мы сопоставим явления речи на разных ступенях человеческой культуры и расположим их при этом в последовательный ряд, нисходящий к самому далекому доступному нам прошлому, то на всем протяжении ряда обнаружатся две тенденции:

1) Чем дальше вниз по лестнице культуры, тем больше эти явления принимают непосредственный характер: словесные выражения душевной жизни становятся все менее сложны и все более непроизвольны; они меньше и меньше основаны на обдумывании, на размышлении;

а как-бы прямо вырываются из человеческой души. Они, следовательно, приближаются к „рефлексам“, т.-е. к стихийным движениям организма или, точнее, к „междометиям“ (так называются рефлексы звуковые).

2) Чем ниже развитие речи, тем больше преобладание слов, выраждающих человеческие действия. На этом пути уже целые века тому назад индусские грамматики пришли к выводу, что слова все происходят от глагольных корней. Новейшая наука подтвердила это массою данных, разыскавши такие „действенные“ корни там, где с первого взгляда их всего труднее предполагать. Например, наше слово „трава“ происходит от арийского корня „tar“—проникать; „брат“ от корня „ber“—нести („носильщик“); „дочь“ от корня, который и у нас сохранился в глаголе „доить“ („доильщица“); „птица“ от корня, имеющего значение „бросаться“ (латинское *peto*—стремлюсь, греческое *πέτωμαι*—летаю), и т. д.

Теперь продолжим обе тенденции до мыслимого их конца и соединим их вместе. Вывод ясен: действенные междометия, т.-е. трудовые крики.

— А не вернее ли производить речь, в конце-концов, от таких криков, которые мы наблюдаем и у животных и которые выражают боль, гнев, радость, страх и пр.?

— Для этого нет научных оснований. Наблюдение показывает, что на памяти истории, т.-е. за несколько тысячелетий, подобные крики у человека („междометия чувства“: ой! ай! ох! и т. под.) заметно не изменялись. Это звуковые рефлексы устойчивые, и они не могли послужить основою для такой развивающейся идеологии, как система речи. Напротив, междометия трудовые не могли не изменяться, не развиваться, благодаря развитию трудовых актов, и с самого начала должны были оказаться менее устойчивыми.

Теперь, благодаря громадному расстоянию, отделяющему нас от начала речи, разумеется, трудно и в „корнях“ слов, успевших многократно измениться, узнать перво-

начальные трудовые междометия. Есть, впрочем, случаи, хотя редкие, где связь очень ясна. Так, немецкий глагол „haugen“—рубить—прямо напоминает о грудном звуке „ha“, вырывающемся у дровосека; русское „ухнуть“ (в песне „Эй, дубинушка, ухнем!“) от аналогичного „ухх“ бурлаков. Корень „gag“, от которого наше „разить“, „поражать“ (греч. ῥίγωμι, ломаю) и т. п., очень близок к тому рычанию, которое в драке издает человек, наносящий изо всей силы удар врагу („враг“—от этого же корня). Французское „feu“, немецкое „Feuer“, как и латинское „flamma“ и, менее ясно, русское „пламя“, эти слова, обозначающие огонь, напоминают о том придыхательно-губном звуке, вроде „ффи“, которым сопровождается раздувание огня.—Но там, где из нескольких десятков, или и того меньше, начальных форм получились сотни тысяч новых, нельзя, разумеется, вообще ожидать, чтобы часто сохранялись явные черты первых зародышей.

c) Происхождение понятий.

— Из каких элементов слагается человеческое мышление?

— Из понятий, сочетающихся в „мысли“ или идеи. Не надо смешивать понятий с простыми „представлениями“. Представления, это—живые образы вещей и событий, имеющиеся в сознании не только человека, но и любого бессловесного, свободного от всякой идеологии животного. Напротив, понятия, мышление—факты идеологические, свойственные только человеку и, может быть, некоторым социальным животным; для мышления недостаточно живых образов, а необходимы их знаки или символы; такие символы суть слова.

Мышление, это—внутренняя речь, это, как заметили еще древние философы, „разговор, который душа ведет с самой собою о вещах мира“, или, как выражаются теперь, это—„речь минус звук“. Человек мыслит

словами; они проходят в его сознании, хотя и не произносятся вслух; иногда же, если человек думает очень напряженно, они и на самом деле время от времени вырываются у него: „мышление вслух“. Размышляя, человек как бы высказывает себе самому одни мысли, потом, как бы возражая, противопоставляет им другие, затем старается примирить и согласовать их, словом—воспроизводит в себе процесс обсуждения, как он выполняется между людьми. Драматическое искусство верно изображает это в так называемых „монологах“, т.-е. разгово-рах наедине.

Таким образом, и по своему происхождению, и по форме мышление—процесс идеологический, социальный, хотя бы оно протекало в сознании отдельной личности. Можно сказать так: обсуждение есть совместное мышление, мышление—обсуждение без собеседников.

— Почему же мы считаем, что из речи произошло мышление, а не наоборот? Почему не допустить, что речь есть мышление, к которому прибавился звук?

— Потому, что слово не могло мыслиться раньше, чем оно было произнесено между людьми. Если бы оно создавалось в индивидуальной душе, оно не было бы словом, потому что не было бы понятно никому, кроме создавшего. Но мы уже знаем, что оно возникло не в сознании отдельного человека, а в общем труде.

— Но правильно ли называть „словом“ то, что не произнесено?

— Психо-физиология учит, что разница между словом произнесенным и словом мыслимым, собственно, только количественная. Когда „мыслится“ понятие, выражаемое определенным словом, тогда в нервно-мускульной системе человека происходят те же процессы, как при произнесении слова, только в ослабленной степени: так же идут от центров мозга двигательные возбуждения к мышцам груди, горлани, полости рта, лицевым, уча-

ствующим в произнесении слова; но тут эти возбуждения недостаточны, чтобы вызвать действие мышц, или, по крайней мере, если вызывают его, то весьма неполное, незаметное. Иногда даже можно уловить его следы; напр., у людей, усиленно думающих, нередко шевелятся губы. Непроизнесенное слово, это—одно из „двигательных представлений“; а двигательные представления вообще не что иное, как действия, протекающие в организме настолько слабо и неполно, что не обнаруживаются внешним образом.

Итак, слово и понятие по существу тождественны, если, конечно, брать слово, не отрывая его от смысла, с которым оно нераздельно в самой жизни и без которого оно вовсе не может называться словом.

Слово-понятие—первичный элемент идеологии. В дальнейшем мышление пользуется также другими знаками, напр., изображениями искусства, письменными символами, математическими фигурами и т. п. Эти знаки входят в мышление, но сами по себе, т.-е. без слов-понятий, образовать его не могут, а остаются лишь его вспомогательными средствами.

— Если мышление произошло из речи, то можно ли противополагать духовную сторону культуры материальной стороне, как нечто в корне, принципиально от нее отличающееся?

— Нет. Если речь возникла из общественного труда, а мышление из речи, то очевидно, что вся идеология, вся духовная культура произошла из технического процесса, из материальной культуры, или, другими словами, общественное сознание—из производства.

В сущности, мы уже раньше пришли к этому выводу, когда путем абстрактного исследования нашли, что было время, когда идеологии не было. Очевидно, она могла возникнуть лишь из того, что уже тогда было, т.-е. из труда,

а) Значение первичных слов-понятий в производстве.

— В чем заключалось практическое значение трудовых криков?

— Главным образом в том, что с их помощью вносились стройность и ритмическая правильность в общую работу, ей придавался дружный характер, достигалась одновременность усилий и необходимый их порядок. Эта роль трудовых криков, а также впоследствии развившихся из них трудовых песен, сохранилась и теперь. Так, в нашей „Дубинушке“, когда она поется при работе, звук „ух“ объединяет всех сотрудников в общем усилии; в том же роде применяются упомянутые нами крики „гопп“, „го-гой“, и т. под. Это — простейшая организационная функция, свойственная уже самым примитивным зародышам идеологии.

— Какие изменения произошли в организационной функции трудовых криков с их развитием в слова-понятия?

— Когда они стали применяться, как слова, т.-с. отдельно от трудового акта, к которому относились, то прежде всего в качестве призыва к самому действию, вроде нынешнего повелительного наклонения. Когда же они употреблялись без такого призыва оттенка, то имели смысл сообщения, что работа выполняется или выполнена. Эти оттенки не выражались никаким изменением самого слова, как в позднейших языках, а только тоном, жестами, мимикой.

Вообще, зародышевую речь нельзя представить на подобие нынешнего „разговора“. Общение между людьми в ту эпоху гораздо ближе подходило к какому-нибудь стадному общению животных.

II. Развитие идеологии за первобытную эпоху.

a) Неопределенность значений первичных слов-понятий.

— Можно ли в строгом смысле принять, что первичные корни означали только трудовые действия людей?

— Нет, такое представление неточно. В действительности, первичные корни далеко не обладали столь определенными значениями, как наши нынешние слова.

Предположим, что с актом копанья был связан звук, выражаемый арийским корнем „ки“; возможно, что он получался, как результат надавливания грудью на примитивное орудие вроде заступа; этот корень имеется и в русском слове „копать“, и в латинском cavus—пустой, sculpo—долбить (отсюда „скульптура“), во французском cave—погреб, и т. д.—Понятно, что „ки“ произносили и в смысле приглашения копать, и в смысле сообщения—„там копают“; но не только в этих случаях. Если человек находил яму, или даже груду вырытой земли, ему живо представлялась работа, которой это было произведено, и у него опять так же непосредственно вырывался привычный звук „ки“. То же происходило и тогда, когда он видел орудие, обычно служившее для копанья, и когда ему встречалось животное, роющее землю, напр., крот, и даже тогда, когда он видел естественную пещеру, вырытую неизвестными ему силами. Все эти столь различные факты и вещи вызывали в нем один и тот же словесный отзвук, одинаково „обозначались“.

Первичные слова не были глаголами, а заключали в зародыше все нынешние части речи; основным значением было, правда, действие, из которого выделялось самое слово; но с ним соединялось неопределенное множество близких значений. То, что в новейших языках выражается в огромном потомстве слов, происходящих от одного корня, выражалось первоначально самим этим кор-

нем. Значение слова было неопределенno, смутно, бесформенно, каковы всегда зародыши.

— Была ли первичная неопределенность смысла слов благоприятным условием для развития идеологии, или нет?

— И да, и нет. Без сомнения, она была сама по себе проявлением слабости первобытного человека; она исключала ясность и точность в общении, во взаимном понимании людей. Даже сейчас наиболее отсталые племена, язык которых не очень далеко ушел от первобытного, должны постоянно дополнять свою речь жестами и мимикой, чтобы успешно объясняться; о бушменах, напр., южно-африканском племени, путешественники сообщали, что они даже не в состоянии как следует понимать друг друга в темноте, когда нельзя видеть лица и движений собеседника. Для племен первобытных это, конечно, было еще труднее.

Между прочим, именно поэтому ошибочны попытки некоторых учёных формулировать особые законы „первобытной логики“, законы, которые позволяли бы, в нарушение того, что мы называем логикой, замещать в процессе мышления часть целым или наоборот, человека — его тотемическим животным, один предмет или явление — другим, ему родственным. Все такие „законы“, очевидно, сводятся именно к смене и замене еще не дифференцированных значений слова-понятия.

Даже в языках позднейших, высоко развитых сохранились следы такой неопределенности, вплоть до обозначения противоположных понятий не только словами, идущими от одного корня, но даже иногда одним словом. Так, еще в латинском *altus* означает и „высокий“, и „глубокий“, *sacer* и „священный“, и „проклятый“. В древне-египетском *кен* означало и „сильный“, и „слабый“; только в позднейшем значение „слабый“ обособилось в измененной форме этого слова *кан*. — И все это естественно, ибо противоположные понятия относятся к одним и тем же активностям.

Зато именно благодаря той же начальной неопределенности, речь и мышление могли в дальнейшем развитии бесконечно расширять свою область. Их содержание не ограничилось узкой сферою трудовых действий, а охватило все, что происходит в жизни человека и природы. Самый важный шаг в этом расширении поля мысли состоял в том, чтобы словами, происшедшими из человеческого труда, обозначить явления природы. Этот шаг был сделан стихийно и незаметно, в виде так-называемой основной метафоры.

— Что такое основная метафора?

— Метафорой вообще называется употребление слов в несобственном или „переносном“ смысле (метафора, буквально,—„перенесение“, по-гречески). Напр., когда говорится, что солнце „улыбается“, заря „горит“, часы „бегут“, выражение лица „холодное“ или „каменное“, все это—метафоры. „Основной“ же метафорой филологи назвали перенесение смысла первичных слов, означавших действия людей, на действия животных и стихийных сил, происходящие в природе.

Каким образом оно совершалось, мы это сейчас видели: действия, напр., крота, роющего землю, или работа потока, прорывающего на своем пути овраги, живо напоминали примитивному сознанию труд копающих людей, и у наблюдавшего непроизвольно вырывалось слово соответственного значения. Так ребенок, увидав, как солнце заходит, восклицает „ку-ку!“—детское слово, означающее прятаться.

Язык и мышление маленьких детей и теперь сохраняют некоторые черты сходства с первобытными: непосредственность и непроизвольность высказываний, отсутствие склонения и спряжения, неопределенность значений, основная метафора. Первые детские слова означают ближайшим образом именно действия,—но, разумеется, не коллективно-трудовые, а индивидуальные, связанные с удовлетворением потребностей ребенка. Таковы „ам“ или „ньям“, обозначающие поедание пищи и вполне

соответствующие звукам, связанным с этим актом (у некоторых племен Южной Африки „ньяма“ означает мясо), „бя“ — звук при выплевывании чего-нибудь невкусного, затем выражение для всего неаппетитного, неприятного, некрасивого; так же общеизвестное „а-а“, и пр. Не представляет исключения и слово „мама“, общее детям самых различных рас: оно, повидимому, произошло просто из сосательных движений ребенка, берущего или ищащего губами грудь матери. Слово „папа“, с коренным звуком также губным, но не плавным, а отрывистым, надо полагать, того же происхождения, своего рода вариация слова „мама“; у некоторых народов они даже меняются своим значением: у грузин „мама“ — отец, у индейцев Чили „папа“ — мать.

b) Происхождение названий для вещей.

- Для каких вещей всего раньше должны были выработаться названия?
- Для орудий труда.
- Чем это было обусловлено?
- Практической необходимостью, которую породило развитие производства орудий.

Когда орудия были элементарно-простыми, и брались прямо из природы (камень, палка), они не отделялись в мышлении людей от тех действий, для которых применялись; напр., камень мог обозначаться тем же словом, как и акт удара. Но когда орудия стали сложнее — каменные топоры, копья, лук и стрелы, и т. п., — то производство их должно было обособиться, как особая работа в ряду других; и тогда смешение орудия с действием неизбежно должно было прекратиться. Если каменный топор делает один работник, а работает им другой, то является и практическая потребность отличать топор от его применения, и наглядная возможность разделить то и другое.

Понятно, что новые обозначения развились из прежних. Даже до сих пор у некоторых племен центр. Африки сохранились следы первоначального способа обозначения орудия через действие; напр., топор они называют „нечто—рубить“, оружие „нечто—убивать“, и т. п. Но все-таки смешения тут уже нет: нынешние дикари—не первобытные люди.

— Каким путем выработались названия для других вещей, кроме орудий?

— Раз уже мышление начало отличать определенные вещи—орудия от их действий, то и к вещам внешней природы оно должно было относиться с той же точки зрения: мы знаем, что, в силу основной метафоры, оно не делало различия между трудовыми действиями людей и стихийными действиями во внешней природе: ее предметы оно стало выделять, в качестве „орудий“, действующих независимо от руки человека; напр., солнце—орудие действия „греть“, снег—орудие действия „охлаждать“, и т. под.

С этого времени в первобытном языке и мышлении стало возможно соотношение „подлежащего“ и „сказуемого“; раньше формы выражения были вполне безличными.

c) *Первичные идеи.*

— Что подразумевается под термином „идея“?

— Устойчивое сочетание понятий. Напр., предложение „солнце греет“ заключает в себе два взаимно связанных понятия: о вещи—„солнце“, и о действии—„греть“. Часто „идея“ употребляется в том же смысле, как „понятие“; но мы для точности будем обозначать словом „идея“ только более сложную форму, чем простое понятие, только соединение понятий.

— Что представляли первичные идеи?

— Технические правила. Если работа слагается из нескольких трудовых актов, идущих один за

другим в определенной последовательности, то идеологическое указание на эту работу (в смысле приглашения к ней или сообщения о ней), естественно, воплощалось в ряд слов-понятий, соответствующих этим трудовым актам и воспроизводимых в такой же точно последовательности. Напр., если взрослый объяснял ребенку его хозяйствственные функции, он делал это так: указывал ему какое-нибудь, положим, съедобное растение, называл, если уже выработалось название, и прибавлял: „найти, сорвать, принести, изломать, размельчить, есть“; и ребенок запоминал это для руководства в будущем. — Чем дальше развивалась техника, а за ней — речь, тем точнее, подробнее, сложнее делались „технические идеи“.

— Как возникли идеи, относящиеся к описанию природы?

— Путем основной метафоры. Они образовывались совершенно по такому же типу, как технические правила, но воспроизводили последовательность не действий человека, а наблюдаемых им действий во внешней среде. Так, описание, положим, пещерного медведя сводилось к обозначению его самого (по какому-нибудь особенно типичному для него действию) и различных актов, им совершаемых и почему-либо интересующих человека. Подобным же образом описывались явления небесные, атмосферные: „светает, разгорается заря, восходит солнце, согревает“, и т. д.

Чистых „описаний природы“, как мы их понимаем, первобытному мышлению приписать нельзя. Жизнь была слишком сурова, борьба за существование слишком тяжела, чтобы дать место бескорыстному, эстетическому созерцанию. Словами выражались и в связи примитивных идей входили только те стихийные явления, которые непосредственно, практически затрагивали людей. Идеи „описательные“, таким образом, по существу не отличались от „технических“; и часто в одной „идее“ связывались действия человеческие со стихийными, как те и другие на деле комбинировались в жизни. Напр., правило до-

бывания огня можно представить в таком виде: „тереть куски дерева; задымится; подложить листьев, раздувать; загорится; подкладывать ветвей“, и т. под. Сколько-нибудь точно воспроизвести вид подобных идей наш современный язык не может, потому что наши глаголы не строго соответствуют неизменяемым первобытным корням с их еще значительной неопределенностью смысла.

— Какой вывод о происхождении познания можно сделать из нашей характеристики первобытных идей?

— Тот вывод, что познание произошло из практики, и на первых ступенях своего развития почти еще от нее не отделялось. Знание было либо просто техническим умением, либо технически-необходимым предвидением обычных воздействий природы на человека. Столь привычное для нас противопоставление познания и практики было совершенно невозможно.

a) Зародыши искусства.

— Какие искусства следует считать наиболее древними?

— Танцы и музыку. Они наблюдаются даже у самых отсталых племен,—и притом в их жизни играют относительно более крупную роль, занимают большее место, чем в жизни многих выше стоящих племен. Очень вероятно, что танцы и музыка существовали даже в „зоологическом“ периоде жизни человечества, когда оно еще не выделилось среди животного царства; по крайней мере, их инстинктивные зародыши наблюдаются и у многих высших животных.

Надо, впрочем, заметить, что если бы элементы танцев и музыки оказались даже древнее элементов речи, все равно, началом идеологии признавать эти искусства было бы неправильно, потому что не из них развилась идеологическая жизнь в ее целом, мир общественного сознания.

— Откуда произошли танцы?

— Из непроизвольных изобразительных жестов. Когда человек вспоминал какой-нибудь важный эпизод своей жизни, то этот эпизод представлялся ему, разумеется, как ряд действий, его собственных прежде всего, и затем иных, направленных на него извне. При большой яркости двигательные представления об этих действиях часто переходили в настоящие движения, и воспоминание превращалось в сокращенное, ослабленное подражание тому, что было. Когда же в таком „изобразительном воспоминании“ принимали участие несколько человек, вместе переживших самое событие (напр., битву, охоту), то, стараясь согласовать свои движения, они вносили в них ритмическую правильность; так получался примитивный танец.

И в настоящее время танцы отсталых племен вполне ясно обнаруживают тот же характер; напр., военные танцы индейских и негрских племен воспроизводят, лишь в упрощенном и украшенном — в „идеализированном“ виде, картины войны. Свадебные танцы у всех народов изображают в разной мере идеализированные сцены ухаживания, и т. под.

— Откуда произошла музыка?

— Ее древнейшим видом была песня, — но не в том смысле, как она понимается теперь, т.-е. не как соединение слов с музыкой в ритмическое целое, а песня стихийная, элементарно-простая, как пение птиц, не выражавшая мыслей, а только чувства, настроения. Это были звуки, в которых непосредственно выливались разные возбуждения: брачный экстаз, радость победы или успешной охоты, тоска о потерянных родичах, и т. д.

Но совместный труд людей создавал и песню работы из тех же звуков, которые дали затем начало словам. Стремление согласовать усилия сотрудников порождало правильность ритма в трудовых криках, и таким образом превращало их в примитивную песню.

Там же лежит, повидимому, и начало собственно музыки. Кроме ритма криков, при дружной работе есть параллельная ему правильность звуков, производимых самою работой, напр., ударов топорами в плотничном деле. В иных случаях для достижения одновременности усилий кто-нибудь отбивал такт работы по обрубку дерева, который являлся, следовательно, прообразом и зародышем барабана, любимого инструмента наиболее диких племен. Впоследствии обрубок дерева заменила обтянутая кожей ступка для толчения зерна; это и был уже настоящий барабан. — Простейший элемент музыки — ее мера — возник из условий коллективного труда.

— Имели ли танцы и музыка практическое значение в жизни первобытных людей?

— Без сомнения, да. Иначе они были бы только лишней и вредной растратой энергии; а между тем ее тогда едва хватало людям на поддержание жизни, так что затраты бесплодные не могли бы удержаться. Во всяком общем деле для успешности чрезвычайно важно единство настроения участников и соответствие этого настроения с самым делом. Для этого именно служили с самого начала танцы и музыка.

Они и теперь играют эту роль в жизни племен, стоящих еще на ступени родового или мало развитого феодального быта. Перед выступлением на войну, на большую охоту, перед племенным собранием для обсуждения важных общественных дел, перед всяkim крупным общественным предприятием они выступают на сцену, при чем выполняются в древних, веками выработанных формах. Характер их определяется в каждом случае практической задачей, т.-е. настроением, которое требуется создать: перед походом — военные танцы с бурной боевой музыкой; перед обсуждениями — „танцы совета“, серьезные, плавные, торжественные, и такая же музыка, и т. д. Это — своеобразная, полезная подготовка, предварительная организация действующих сил для намеченной работы.

На более высоких ступенях культуры значение танцев и музыки уменьшается, благодаря преобладанию других идеологических форм, а также затемняется, становится менее наглядным. Обыкновенно их считают просто забавой, „средством развлечения“. Но по существу, их организационная функция сохраняется: они способствуют сближению людей путем порождаемой ими общности настроения. Этим и сейчас полусознательно пользуются в самых различных кругах общества для подготовки семейной связи между молодыми людьми брачного возраста (хороводы, вечеринки, балы и пр.). А военная музыка и трудовая песня в полной мере сохранили свой прежний характер и значение.

— Откуда возникли первые зародыши живописи, скульптуры?

— Частью, вероятно, на основе тех же изобразительных движений, частью,—на основе самой техники производства. Желая дать другому человеку понятие о каком-нибудь предмете, дикарь, ребенок, даже вообще человек с живыми жестами, часто невольно и непосредственно своими движениями воспроизводят очертание этого предмета. Отсюда недалеко до изображения предмета, напр., пальцем на песке, что уже можно назвать началом живописи.—С другой стороны, в работе, напр., над производством орудий, утвари, примитивной мебели, иногда должны были получаться, хотя бы вполне случайно, фигуры, напоминавшие работнику тот или другой знакомый предмет; это вызывало его интерес, затем стремление усилить замеченное сходство; и на этом пути человек шаг за шагом доходил до планомерного воспроизведения внешности разных предметов.

— Какое практическое значение имели зародыши этих искусств?

— Во-первых, это было средством познания практически-важных вещей. Напр., у охотничих племен главным содержанием живописи были изображения животных и сцен охоты; ребенка, еще незнакомого со всем

этим, они вводили в обстановку и методы его будущего труда. Понятие о внешности пещерного медведя, пещерного льва, мамонта давалось наглядно рисунками на стенах жилища, на посуде, на рукоятках орудий и пр.; словесный способ описания был еще слишком несовершенен, да и вообще недостаточен для этого. Во-вторых, эти изображения, находясь перед глазами детей и взрослых, постоянно и незаметно поддерживали единство и настроение, столь важное для всякой общей работы в дальнейшем.—Словом, искусство и здесь служило для подготовительной, предварительной организации трудовых сил группы, коллектива.

— Откуда произошла поэзия?

— У нее происхождение общее с речью и мышлением. Не только в первобытную эпоху, но и на гораздо более поздних ступенях развития, по крайней мере, до феодальной эпохи, она не выделялась, как особое искусство, и не отграничивалась от познания вообще.

Первобытная речь со своей неопределенностью значения слов, со своей основной метафорой, постоянно переносящей понятия о человеческих действиях на явления природы, уже заключала в себе стихийное начало поэзии. Всякий рассказ, всякое описание, переходя из уст в уста, сами собой превращались в „миф“ или в „легенду“, потому что смысл их не мог точно восприниматься: только сам автор, т.-е. человек переживший то, что рассказывается или описывается, мог, с помощью пояснительных жестов мимики, указания на самые предметы, о которых идет речь, достигнуть точного понимания другими того, что он сообщал,—и то не всегда.

Поэтому очень немногое и сохранялось в передаче от поколения к поколению: во-1), практические правила, которые постоянно пояснялись на деле в самой жизни; во-2), рассказы и описания, относившиеся к наиболее часто повторяющимся, наиболее обычным событиям. Если же и сохранялась память о событиях исключительных,

то в глубоко измененном и затемненном виде, в виде мифа вполне „поэтического“, по нашим понятиям.

Благодаря основной метафоре, даже описания самых обыденных явлений природы имели в первобытном языке два смысла. Напр., гроза, буря описывались выражениями, соответствующими боевым действиям людей, так что получалось вместе с тем повествование о битве между враждебными группами или племенами; зимнее ослабление действия солнца описывалось словами, означавшими болезнь, упадок, смерть человека, и т. под. Это двойное значение свойственно массе мифов, даже не первобытного, а более позднего происхождения. Но оно двойное только для нас, привыкших отделять и различать стихийное от человеческого, логически разграничивать разные вещи и факты. Для первобытного мышления это вовсе не было так, и гроза была действительно битвой, зима — болезнью и смертью человека-солнца, или его пленом у врагов, и т. д. Это не была „поэзия“, а само первобытное познание; иным оно тогда и не могло быть. И в этой своей наивной форме оно давало необходимые для жизненной борьбы практические директивы. Не важно, что астрономический цикл солнца описывался, как цикл приключений человека-героя: последовательность смены явлений изображалась верно, и коллектив мог руководиться ею в своих расчетах, пока не выработал более совершенных способов описания.

Яркая иллюстрация — миф о вампирах. Трупы представляют много возможностей вреда для живых людей: отравляющая дыхание порча воздуха, иногда зараза и пр. Примитивный язык не мог выразить этого иначе, как образно: „мертвецы душат, ранят, убивают“. Это — практическая директива, чтобы удалять их, закапывать и т. п., что на деле необходимо. Миф был нужен и разумен, был объективен, пока более точное знание не сделало его пережитком.

Нам трудно представить себе это, потому что наше мышление совсем другое, воспитанное в радикально изме-

нившихся условиях. Но так было; к этому приводит абстрактно-научное исследование. У нас есть сотни тысяч слов для выражения того, что мы видим или чувствуем. А тогда их имелось несколько десятков, и те едва отделялись от коллективно-трудовых действий; из которых они произошли.

e) *Первобытное мировоззрение.*

— Что называется мировоззрением?

— Мышление о мире, приведенное в порядок, в систему идей. Мировоззрение может быть общественное, классовое, групповое, индивидуальное.

— Имелось ли мировоззрение у первобытного общества?

— В точном смысле слова,—нет. Там не было систематизации идей; они не связывались между собою в отдельный порядок, в особое идеологическое целое. Они оставались отрывочными и разрозненными: они не группировались между собою, а связывались только с теми трудовыми процессами, с теми фактами жизни, к которым прямо относились.

— В каком же смысле мы будем говорить о мировоззрении первобытной эпохи?

— Мы дадим характеристику основных, общих черт первобытного мышления,—как бы сделаем его систематизацию за неспособных к ней людей той эпохи.

— Какие же основные черты дает нам эта систематизация?

— Первобытный динанизм и первобытный колективизм.

— Что такое первобытный динанизм?

— Его называют также „первобытной диалектикой“; он состоит в том, что природа представлялась тогда мышлению всецело как мир действий, а не как мир устойчивых „вещей“. Даже когда возникли названия вещей, то понятие о них вначале было „динамическое“

или действенное: вещи понимались, как орудия действий или их центры, исходные пункты. Понятия о вещах, как о пассивных, инертных сущностях, тогда еще не было.

— Что такое первобытный колLECTИВИзМ мышления?

— Он заключается в том, что человек мысленно не выделяет себя из той родовой группы, к которой принадлежит, не рассматривает себя в ней, как особый центр действий, интересов, стремлений, сливаются с ней, как орган с телом, вообще — мыслит свою группу там, где современный нам человек мыслит „себя“.

И здесь — огромная трудность для современного сознания, воспитанного веками индивидуалистической культуры, поставить себя на такую точку зрения. О ней дают некоторое понятие моменты самозабвения личности в массовой жизни: когда солдат, в боевом энтузиазме, перестает видеть себя со своим личным интересом самоохранения, а видит только общее дело, общую задачу, и себя на ряду с другими, как ее орудие; когда современный работник в порыве классовой солидарности принимает вместе с товарищами решение, которое заведомо обрекает его на голод, страдания и опасности, заведомо лично невыгодно для него, — при чем в его сознании „мы“ вытесняет „я“, — и другие подобные случаи, сравнительно еще не частые в нынешнем обществе.

Первобытный колLECTИВИзМ был стихийным, как само тогдашнее мышление. Тяжелая, изнуряющая борьба за существование спаивала родовую группу в тесное целое; зародыши идеологии вносили только больше организованности в эту связь. Само мышление было вполне „сплошным“, до тождества одинаковым у всех членов одной группы.

— Было ли первобытное мировоззрение прогрессивным или консервативным?

— Оно было консервативно в высшей степени, потому что такова была трудовая жизнь, из которой оно выросло. Для развития жизни всегда необходим избыток энергии, а его не было.

Идеология была даже, тогда, как и в дальнейших фазах, консервативнее самой жизни. Напр., трудовой процесс изменялся, технически совершенствовался, а обозначения трудовых актов оставались еще прежние; если они изменялись, то позже с большой медленностью и постепенностью. Это и не может быть иначе по закону социальной причинности: причины развития, его исходный пункт, его движущие силы лежат в технической области; идеология приспособляется к происходящим преобразованиям трудовой жизни; а для этого требуется время.

Но при всем своем консерватизме идеология была благоприятным и необходимым условием для прогресса. Она сохраняла и накапливала трудовой опыт прошлого; и он не пропадал для дальнейшего развития, а образовывал его материал, все более богатый. Первоначальная узость жизни была основой ее застойности; эта узость шаг за шагом преодолевалась прогрессом труда, и приобретенное расширение закреплялось ростом идеологии.